

«ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ»

Недавно побывавшие в Советском Союзе жена и дочь Ф. Ф. Раскольникова, активного участника Октябрьской революции, советского дипломата и писателя, привезли с собой часть его литературного архива и передали его в Союз советских писателей.

Сохранять этот архив в течение двадцати пяти лет же Федору Федоровичу было нелегко. После смерти музы Васильевна осталась в Франции. Началось на-

мне посчастливилось познакомиться с Алексеем Максимовичем в Петрограде весной 1915 года.

На Волковом кладбище хоронили известного либерального историка русского революционного движения В. Я. Яковleva-Bogucharskogo. Стояла грязная оттепель.

Максим Горький ждал погребения на кладбище. Высокий и сутулый, в черной широкополой шляпе, похожей на мексиканское сомбреро, он стоял, прислонясь к решетке чьей-то могилы. Его окружала молодежь.

Потом я много раз бывал у Горького на пятом этаже очень высокого дома, на углу Кронверкского и Каменноостровского проспекта.

Горький был замечательно интересный рассказчик: когда он говорил, его можно было заслушаться. У него было подвижное лицо, глуховатый голос и необыкновенное богатство интонаций. Он рассказывал умно, умел пользоваться неистощимым юмором, двумя-тремя чертами лепил пластический образ и, как бы невзначай, давал убийственно меткую характеристику. Житейский опыт его был изумительно богат, а феноменальная память, как фотографическая пластика, запечатлевала все, что он когда-либо видел или читал.

Он сидел за чайным столом всегда около стены, дополняя повествование мимикой и скрупульными, угловатыми жестами. С напряженным вниманием слушали его гости.

Осенью 1924 года я приехал в знаменитый Неаполь. Между вокзалом и конным памятником Гарибальди я нанял итальянского извозчика-веттурино.

Смуглый, как цыган, веттурино медленно вез меня в гору, звонко стреляя бичом и с гордостью рассказывал, что «Массимо Горки» жил до войны на Капри, а теперь переселился в Сорренто.

Утром на маленьком пароходе по ласково-спокойному, голубому заливу я поехал в Сорренто.

Перед вечером я подошел к вилле, где жил Горький. В саду меня встретил его сын Максим Пешков и спросил мою фамилию.

— Вы тот самый Раскольников? — с удивлением спросил он меня.

— Да, тот самый, — подтвердил я.

Сегодня итальянские газеты опять напечатали, что отец при смерти, — сказал мне на лестнице Максим, — но это неправда.

И он отворил белую дверь.

Горький сидел на краю дивана перед широким обеденным столом, на котором лежала прерванная на полуфразе рукопись. Последнее законченное слово было: «Тихон». Большое окно светлой, просторной комнаты выходило на Неаполитанский залив. Горький поднялся, с приветливой улыбкой пожал мне руку и предложил сесть на стул против себя. Положив на стол гладкие, белые руки, он ласково посмотрел мне в глаза и сказал:

— Вы прямо из Москвы? Ну, рассказываете, что там происходит.

Он с жаждостью расспрашивал меня, проявляя огромный интерес ко всему, что делается в Советском Союзе.

Разговор перешел на советскую литературу.

— Я только что прочел «С мешком за смертью» Сергея Григорьева. Знаете, хорошая вещь! Вообще, там у вас выходит много замечательных вещей. А вот эмигрантская литература хиреет. Мережковский печатает в «Современных записках» роман об египетском фараоне Тутанхамоне. Знаете ли, я не мог дочитать... Поразительно плохо! Вы представьте себе: египетские фараоны говорят у него современным языком.

И его добродушное лицо, на котором выделялся нос с открытыми ноздрями, озарилось широкой иронической улыбкой.

В личных симпатиях к отдельным людям Горький был очень субъек-

тивен. Он мог временно восхищаться каким-нибудь писателем, с увлечением хвалить его вещи, а потом без видимой причины внезапно охладеть к нему. Однако он обладал редким умением отрешиться от симпатий и антипатий при общей оценке человека.

А с каким добросовестным вниманием он относился к молодым, начинающим писателям!

Меня всегда изумляло, как успевал он прочитывать невероятные груды рукописей,

попутно синим карандашом выправлять стиль и даже орфографические ошибки, подчеркивать отдельные слова и выражения, испещрять поля рукописи умными и содержательными пометками. Возвращая прочитанную рукопись автору, он обычно сопровождал ее письмом с подробным и точным анализом и дружескими советами.

Но не менее внимательно относился он к литераторам старшего поколения.

Во время пребывания Горького в Москве, в ноябре 1929 года,

я передал ему сделанную мною иллюстрацию романа Л. Н. Толстого «Воскресение». Максим Горький с

изумительной быстротой и необыкновенным вниманием прочел пьесу,

вернув ее со следующим письмом:

«Дорогой Федор Федорович,

Вообразив себя зрителем в театре, я чувствую, что «четец» мешает мне своею пессимистической воркотней анархиста.

Если его невозможно устранить, то, мне кажется, следует весьма сильно сократить его «подсказывания».

Особенно нужно сделать это на стр. 35—41 и 98—102. Нехорошо, —

«кнетеатрально» — что он, четец, кончает 1-ю картину 2-го действия, этим он расхолаживает зрителя. Будет лучше — живее, если Вы перенесете в конец сцену с истеричкой. На 105-й слишком примитивна беседа Нехлюдова с «четцом». На 106-й — пусть бы Нехлюдов читал сам свой дневник.

Вся 3-я картина 2-го акта кажется мне совершенно лишней, она вполне способна сотворить в театре скучину;

было бы интересней и оригинальнее воспроизвести игрою на сцене обряд евхаристии. Второй акт — оборван, не оставляет законченного впечатления.

В начале 3-го четец снова мешает, то же и в конце 1-й картины и во 2-й.

Вообщем, четца слишком много, он затягивает «действие» и без него — не богатое, он грозит сделать всю пьесу скучной.

Победоносцева следовало бы на минуту показать одного, после приема Нехлюдова, — ходит по кабинету и тихонько поет свое любимое «Господи, воззвах к тебе, услыши мя», поет тихонько и на 6-й глас. Слова

Нехлюдова на стр. 156—7 могут вызвать демонстративные аплодисменты зрителей. Со стр. 213-й я бы убрал речь старика анархиста, анархизм разрастет у нас достаточно сильно и без

пропаганды со сцены театра.

В общем пьеса показалась мне недостаточно «действенной», но, разумеется, — театр должен устранит эти недостатки, и, наверное, устранит.

Всего доброго

А. ПЕШКОВ.

25.XI—29.

Максим Горький оказался прав.

Московский Художественный театр устранил недостаток действенности.

Владимир Иванович Немирович-

Данченко и Илья Яковлевич Су-

даков блестящий режиссерской ра-

ботой и основательной переделкой

текста пьесы устранили недочеты.

К сожалению, Горькому не пришлось побывать на репетиции «Вос-

кресения»: он скоро уехал в Сорренто.

Вместе с другими товарищами я провожал его на вокзале.

ступление гитлеровцев. С огромным потоком беженцев она пробиралась из Парижа на юг Франции с маленькой дочерью на одной руке, а в другой нес я портфель с архивом мужа, умершего в больнице в сентябре 1939 года.

Мы публикуем сокращенные воспоминания Ф. Ф. Раскольникова о Максиме Горьком. В них приводятся письма писателя, подлинники которых не сохранились ни в архиве Горького, ни в архиве писателя.

В январе 1930 года он приспал стихи одной молодой поэтессы с таким рекомендательным письмом, которое прекрасно характеризует его замечательную скромность:

«Дорогой Федор Федорович.

Я не «знаток» современной поэзии и плохо разбираюсь в ней, но прилагаю к стихам как будто мне оригинальными. Может быть, вы напечатаете некоторые из них?

Автора я не знаю, не видел: слышал, что это еще очень молодая девушка.

Сердечный привет.

А. ПЕШКОВ.

29.I—30 г.».

В марте 1930 года я был назначен полпредом в Эстонию. В том же году я послал Горькому из Таллина оттиск напечатанной в «Красной ниве» моей пьесы «Робестье».

Горький долго не отвечал, и я уже отчаялся получить от него отклик,

как вдруг однажды, в феврале 1931 года, он приспал письмо из Сорренто с критикой моей пьесы:

«Дорогой Федор Федорович —

Виноват перед Вами, до сего дня не собрался написать о пьесе. Прочитал я ее давно; она показалась мне тяжеловатой, несколько перенасыщенной словами, а характеры в ней — недостаточно четко оформлены.

Исторически — они, кажется, верны, то есть говорят то самое, что говорили, слова их Вы слышите и воспроизводите более или менее точно, но речевые, характерные особенности, «акценты» недостаточно подчеркнут, как мне кажется. Это делает людей — до известной степени — однородными. Недостаток этот, — если он действительно существует, а не плод субъективного моего воображения, — недостаток этот не могут сгладить артисты театра. Посему я бы советовал Вам посмотреть на пьесу, как на чужую и «проработать» ее: кое-где — сократить, а главное — подчеркнуть различие характеров отождествлением героев к «быту», к внешним, мелким фактам их бытия. Человек ловится на мелочах, в крупном — всегда выдаст истинную «суть души», ее рисунок, ее тяготения.

Должен сказать, что к моим служениям о драматическом искусстве следует относиться строго критически, ибо, считая эту форму литературы самой трудной, я плохо разбираюсь в ней и — как Вы знаете — сам могу писать пьесы только очень неудачные. Кстати, покаюсь: именно этим делом и занят — между прочим, — я прочее увлекает меня гораздо больше, чем пьесы. «Прочее» — совершенно изумительно. Вот, например, сегодня получил письмо из одной Сибирской Коммуны, — солидную рукопись на тему «Как мы сочиняли письмо», — мы, это — коммунары. Замечательная штука, и, конечно, требует ответа. Все требуют ответов! Ну, вот, и пишу ответы.

Расчудесная работашка, черт возьми.

Эмигранты ругают меня, это — верно. Но — что же им делать? Эта ругань меня никак не трогает. Поругивают и граждане Союза, подписывая писания свои псевдонимами: «Курский рабочий», «Рабфаковец» и т. д. Рабочие и рабфаковцы они такие же, как я — маркиз. И злость их не так удивляет меня, как удивляет малограммотность.

Но — все это «преходящее» и ненадолго.

Крепко жму руку. Удивительное и прекрасное время, а?

Будьте здоровы: А. ПЕШКОВ.

13.II—31».